

Что бы я ни начинал обдумывать — новую роль или фильм, — еще толком не зная, как буду играть или ставить, а характер музыки, мелодика, лейтмотив будущей работы уже рождались во мне. Я не слышал их — если бы слышал, то спел бы, и дело с концом. Нет, я внутренне чувствовал интонационный настрой роли, картины. Именно чувствовал, ощущал мелодическое направление в том хаосе звуков, интонаций, даже голосов, которые постоянно бродят во мне.

Самое удивительное, что я не знаю сам, как это рождается, почему появляется неизвестно откуда. Например, если дело касалось роли, я слышал себя тем или иным инструментом: то я виолончель, то я труба, гармошка или балалайка — в зависимости от характера роли... Когда предстояло ставить фильм, то его звучание рождалось во мне раньше, чем другие компоненты картины, раньше, чем образный ряд.

Для меня музыка в произведении — не приложение, не виньетка, не украшение, она — душа! Она — активно действующее лицо. Она говорит, когда персонажи молчат. Она — гармония, ритм фильма. И потом я, уже как режиссер, исходил из этого: выстраивал сцены, диалоги, накладывал их на воображаемую музыку, слыша ее всплески или замирания...

Если бы я имел музыкальное образование, мне было бы легче — я бы просто записывал то, что звучит во мне, волнует, будоражит... Но тогда бы я был не режиссером, а композитором...

Мне так хотелось узнать, а как же сами композиторы слышат то, что потом превращается у них в музыкальное произведение. И вот однажды такой случай представился. Году в 1965-м оказался я в Ростове-на-Дону в одно время с нашим великим песенником Василием Павловичем Соловьевым-Седым. Мы шли по улице, разговаривали, и я спросил:

— Василий Павлович! А как пришла к вам эта мелодия? — И напел: «...Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера...»

— Черт его знает... Услышал, — ответил он просто.

В это время нас обгонял трамвай.

— Ты что сейчас слышишь? — обратился ко мне композитор.

— Стук колес, звонок, — ответил я, озадаченный вопросом.

— Вот видишь, как мало... — Василий Павлович не договорил и на какой-то миг ушел в себя. Потом, выщелкивая большим и средним пальцами ритм, напел: «Ди-ди, ди-ди, га-та-та та-та-та...»

Получилась прелестная мелодия. Конечно, она тут же пропала в шуме ростовской улицы. Но композитор услышал ее даже в совсем не музыкальных звуках, которые издавал проходящий мимо нас трамвай... Услышал, напел и тут же забыл. Василий Павлович как бы преподавал мне урок: «Учись слушать окружающий тебя мир». А я тогда с сожалением подумал: «Господи, если бы я умел записывать все, что слышу вокруг и внутри себя! Я бы и напетую только что мелодию записал бы...»

Вот почему в моей работе мне так нужен композитор, которому я мог бы объяснить то, что звучит во мне, тот «хаос», а на самом деле — мое мелодическое представление о роли или фильме... И это очень трудно — объяснить то, что я хочу.

Из письма М. П. Мусоргского: «...если звуковое выражение человеческой мысли и чувства простым говором верно воспроизведено у меня в музыке и это музыкально-художественно, то дело в шляпе».

Магическое «простым говором» — самое, на мой взгляд, сложное в искусстве. «Простым» — вовсе не значит облегченным, простецким, а вот «говором» — значит народным, то есть доступным широким массам слушателей, зрителей. Такое звучание музыки — часть меня самого, так как родился я и рос в окружении народной музыки, народных песен.

И вот когда я начинал очередной фильм, передо мной встал непростой вопрос: кому из композиторов довериться? Кому я могу сказать: «На, возьми собранные в моей душе пока еще неясные мне самому интонации, услышанное мною пенье птиц, шелест трав, журчание ручейков... Возьми и выстрой в ряд, облеку в гармонию, в мелодию и отдай взятое от меня, но сочиненное тобой в мой фильм».

Таким композитором стал для меня Евгений Николаевич Птичкин. Не знаю, ходил ли он, как я, в детстве босиком по земле или нет, но уверен, что чувствовал он ее всем своим существом. Я

понял, что Птичкин — мой композитор.

Это совсем не значит, что работалось нам всегда легко, как было, например, с песней «Сладкая ягода» к «Любви земной»: вечером я нагрузил Птичкина своим «хаосом», а в пять утра он мне ее уже спел по телефону. Через неделю-две она уже пелась везде и всюду.

Кстати, из-за этого мы с ним крепко поссорились. Представьте себе: фильм еще не снят, а песня уже звучит во всех ресторанах, ее горланят пьяными голосами в застольях...

— Как могло такое случиться, Женя? — неистовствовал я.

— Понимаешь... Ольга Воронец попросила у меня разрешения исполнить эту песню один раз по радио... Понимаешь — один раз... Ну и...

— А ты понимаешь, что фильм выйдет уже со старой, затертой песней?! — не унимался я.

Так, кстати, и случилось. Песня «вышла в люди» раньше фильма и без имен авторов — Роберта Рождественского и Евгения Птичкина. А может, именно в этом и счастье ее создателей?! Песня-то стала народной...

Гораздо труднее работалось нам с Евгением Птичкиным, когда пришел черед фильма «Судьба» — продолжения «Любви земной»...

Роберт Рождественский прочел сценарий, позвонил мне:

— С-слушай, с-старик, драматургия волнует — фактура по-народному крепкая. Но... Хоть убей, не могу понять — где и зачем нужна песня... Надо встретиться...

С Евгением Птичкиным мы поехали к Рождественскому — на дачу, в Переделкино. Уселись втроем в тени развесистой яблони за стол, сервированный милой женой поэта Аллочкой для чаепития, — самовар, чашки...

Композитор вытащил из портфеля бутылку «Столичной». Осторожно поглядывая на крыльцо дома, торопливо наполнил чайные чашки... И тут как тут — Алла с тортом...

— Это так, для маленького вдохновения, — заискивающе объяснял Птичкин.

— Роба!.. — Алла перевела недовольный взгляд на мужа. — Ты еще вчера хорошо вдохновился!..

Но водка под торт прошла, слава Богу, без противности.

— Давай, с-старик, выворачивай душу. Чего ты от нас хочешь? — спросил Рождественский.

— Двое любящих в вынужденной разлуке, — начал я. — Он (Брюханов, его сыграл Юрий Яковлев) в партизанском отряде. Она (Валерия Заклунная) в заложницах у немцев. При всех тяжких испытаниях они думают друг о друге... Вот в этом «думают» и есть музыка... Вернее, песня...

— Ну, это только сюжет, — буркнул Роберт.

— Представь! На экране война, разруха, пожары, виселицы, голод, дым, грязь. И над всем этим адом — песня любви, песня щемящей нежности. Нежности! Чистоты!..

К нам снова подошла Алла. Поставила тарелки с лучком, салцем, огурчиками, сыром... И граненые стопки....

— Женя, — это она обратилась ко мне, — вы им о нежности, а они водку из чашек лакают. Извращенцы несчастные! — Последние слова она произнесла с еле сдерживаемой улыбкой и ушла.

Из стопок «Столичная» прошла уже с приятностью.

— П-продолжай, — хрумкнул малосольным огурчиком Роберт.

Я проигрывал на тему любви этюды, цитировал известные сцены из классики, смеялся, плакал... Напевал мелодии любимых песенников: Фрадкина, Соловьева-Седого, Пахмутовой, Богословского...

Три года ты мне снилась,
А встретилась вчера...

Я устал, но продолжал ходить вокруг творцов, как тот кот «по цепи кругом». И все убеждал, убеждал... Наконец не выдержал и в досаде, обиде за свое косноязычие заорал:

— Долго я буду перед вами вертеться на пупе?!

Рождественский смотрел на меня, не мигая, и сказал как бы про себя:

— П-п-пожалуйста, п-п-повертись еще на п-п-пупе...

На этих словах он заикался больше обычного. Очевидно, заволновался, что-то в нем заработало.

— Роба! Дорогой! — почти в отчаянии выкрикнул я. — Я хочу, чтобы между ними, героями, песня была связующим мостиком... Это... Как эхо!.. Я даже знаю, кто будет ее петь, — сказал я и обессиленно сел.

— Кто?

— Анна Герман.

Роберт вскочил.

— Всё! Не вертись! На-надоел! — И, допив водку, он быстро удалился в дом.

Я недоуменно посмотрел на тезку:

— Что, поэт обиделся?

— Нет! — счастливо улыбнулся Птичкин. — По-моему, стихи состоялись...

— А мелодия? — спросил я робко у композитора.

— Она уже давно у меня вертится...

Через пару дней Евгений Николаевич позвал меня в свой мосфильмовский кабинет (Птичкин был главным музыкальным редактором студии). Предвкушая мой восторг, он громко, очень громко, слишком громко запел:

Мы — эхо! Мы — эхо!

Мы долгое эхо друг друга...

Стихи, мелодия были превосходны!.. Но как неверно, как конкретно, без нежности, исполнил их сам сочинитель!.. Да, не всем композиторам — даже самым голосистым — дано спеть свою песню так, как это умел делать Ян Френкель. Помните его проникновенные «Вальсок», «Русское поле»?..

Я выразил Птичкину искренний восторг, но попросил его никогда и никому эту песню не петь: мало ли что — вдруг украдут... В общем, старался не обидеть его как вокалиста...

— Давай думать, как нам заполучить Анну Герман? — предложил я.

Ее голос, свирельной чистоты, нежный, легкий, хрустальный и серебристый, единственный в своем роде (Боже, сколько еще прекрасных эпитетов мог бы я привести, говоря об этой изумительной певице и очаровательной женщине!), не давал мне покоя ни днем, ни ночью. Он буквально преследовал меня... Он обволакивал меня... В нем было то необъяснимо прекрасное, что требовалось для выражения чувств двух бесконечно любящих друг друга людей, разделенных страшными обстоятельствами. И эту любовь мне хотелось показать в фильме не словами или зрительными образами, а мелодией...

— Да, только она!.. Но... — Женя помолчал, потом снова произнес это злополучное «но»: — Но ведь Аня живет в Польше... Да и потом, она только-только пришла в себя после тяжких травм, полученных в той автокатастрофе в Италии... Да и понравится ли ей песня?!

Аня приехала в Москву. (О том, как проходили наши переговоры, я не раз рассказывал в посвященных Анне Герман телепередачах, подготовленных уже после ее смерти.)

И вот мы в Доме звукозаписи. Оркестранты встретили певицу с чувством искренней симпатии, почтения: мужчины встали, женщины постукивали смычками по пюпитрам. Аня, взволнованная, не скрывая своей радости от приема, несколько раз смущенно поклонилась.

Высокая, стройная, белокурая, сероглазая Герман стала у микрофона. Без малейшего напряжения, просто и естественно, так, как дышит сама природа, полился ее божественный голос.

Покроется небо пылинками звезд...

Оркестр вдруг заиграл невпопад и умолк: через стекло из аппаратной мы увидели, как женщины — кто украдкой, а кто и открыто — вытирали слезы...

Записали Анино соло. Записали и дуэт — как вариант — с Львом Лещенко. Не мог я лишиться зрителя того наслаждения, которое испытал сам, — решил взять в фильм оба варианта.

Последний дубль... Овация... такое с музыкантами в рабочей обстановке я видел впервые. А может, и в последний раз...

Благодарно обнимая композитора, я шепнул:

— Теперь ты понял, что написал?

— Скажи честно, ты *это* хотел?

— Да, Женя, *это*, — искренне признался я Птичкину.

— Видишь, значит, не зря ты тогда «вертелся на пупе»!..

И оба, как мальчишки, рассмеялись, вытирая текущие по щекам слезы... Это были слезы любви к Анечке Герман.

Назначена запись песни Евгения Птичкина «Даль великая» к фильму «Любовь земная». В аппаратной, в оркестре все готовы. А Иосифа Кобзона все нет. Терпеливо ждем... Музыканты — народ добрый, но и позубоскалить горазды... Ну, и пошло!

— В такую погоду звезда и нос из-под одеяла не покажет...

— Звезда — она себя уважает...

— Не отведать ли нам буфет, господа?

Так хиханьками да хаханьками забавляли себя оркестранты. Занервничал и я. Взглянул на ассистентку.

— Два раза звонила... Телефон молчит!.. — оправдывалась Лидия Ивановна.

С нетерпением взглянул в окно. Погода и впрямь немислимо слякотная: снег с дождем и ветром.

Врывается Иосиф Давидович, весь мокрый и грязный.

— Извините, попал в аварию!.. Я бы раньше прибежал, но чертовски скользко. — Он рассмеялся и добавил из «Горя от ума»: — «И падал сколько раз!..» Можно репетицию? Я готов.

Его искренность, виноватая улыбка как рукой сняли напряжение в зале. С ходу, надев наушники, вдохновенно и дерзко он заполнил тонстудию своим изумительным баритоном. Оркестранты выразили свое одобрение певцу, постукивая смычками по инструментам.

— Спасибо, — сказали мы с композитором, — можно писать.

— Нет, нет! Что вы! — не согласился Кобзон.

Опять репетиция...

— Запись! — предлагает дирижер.

— Нет! — противится певец.

Репетиция... Песня поистине приобретает живую плоть.

— Запись! — просит Евгений Николаевич Птичкин.

— Нет!

Сколько было этих «нет», не помню. Помню только, что на моих глазах совершалось диво: единение таланта и труда. После записи я спросил у оркестранта-скептика:

— Ну как?

— Я же сказал — звезды себя уважают!..

Я согласился с ним.